

И.Ф. Наживин

Степан Разин (Казаки)

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6
ББК 84-4
И11

И11 **И.Ф. Наживин**
Степан Разин (Казаки) / И.Ф. Наживин – М.: Книга по Требованию, 2021. –
272 с.

ISBN 978-5-458-03796-9

Роман известного писателя Русского Зарубежья И. Ф. Наживина (1874-1940 гг.) «Степан Разин» («Казаки») является знаковым. В нем автор с огромной эпической силой показал трагические события, произошедшие во времена, когда конфликт между властью и подданными достиг апогея, создав яркий, правдивый образ Степана Разина, которому суждено было впервые в истории России зажечь пламя народного восстания против существующей общественной системы.

ISBN 978-5-458-03796-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© И.Ф. Наживин, 2021

Степан Разин (Казаки)

И. Наживин, 1928 г., Париж

I. На верху у великого государя

Шло лето от сотворения мира 7175-е, от Рождества Христова 1667-е, благополучного же царствования великого государя всея России Алексея Михайловича двадцать второе. На высокой колокольне Ивана Великого, возведённой ещё в годы народного бедствия и скудости заботливым царем Борисом Фёдоровичем Годуновым, пробило только четыре часа, а Москва златоглавая, вся в лучах восхода розовая, уже жила полною жизнью: как всегда, оглушительно шумели торги, купцы зазывали в свои лавки покупателей тароватых, с барабанным боем прошёл куда-то стрелецкий приказ, на страшное Козье болото, за реку, провезли на телеге на казнь каких-то воров, попы звонили к заутрене, по Москве-реке тянулись куда-то барки тяжёлые. И бесчисленные голуби, весело треща крыльями, носились над площадями...

Проснулся и кремлёвский дворец, прежний, старый, деревянный, в котором, не любя каменных хором, жил великий государь. Спальники, столъники, стряпчие, жильцы озабоченно носились туда и сюда по своим придворным делам; на Спальном крыльце уже томились просители; сменялся стрелецкий караул; сенные девушки, на половине царицы, с испуганными лицами бегали по дворцовым переходам со всякими нарядами для государыни и для царевен. Две успели уже поссориться, и боярыня-судия уже чинила над ними суд и расправу... А в опочивальне царской, низкой, душной комнате, со стенами, покрытыми тёмной тиснёной кожей, и потолком сводчатым, расписанным травами, постельничий с помощью постельников и стряпчих одевал великого государя. Было Алексею Михайловичу об эту пору только под сорок, но он уже обложился жирком и было в этом круглом, опущённом небольшой тёмной и курчавой бородкой лице, в этих мягких и ясных глазах и во всей этой фигуре что-то мягкое, ласковое, бабье. Он умылся, старательно причесался и прошёл в соседнюю Крестовую палату, всю сияющую огнями, золотом и камнями драгоценными бесчисленных икон. Там уже ждал его духовник царский, или крестовый поп, крестовые дьяки и несколько человек из близких бояр. Поп благословил хорошо выспавшегося и потому благодушного царя, он приложился ко кресту и началась утренняя молитва. Алексей Михайлович истово повторял привычные, красивые, торжественные слова, — помолиться он любил, — а мягкие глаза его с удовольствием оглядывали привычную, милую его душе обстановку моленной!.

Вот около иконостаса стоят золотые ковчежцы, а в них бережно хранятся смирна, ливан, меры Гроба Господня, свечи, которые сами собой зажглись в Иерусалиме от небесного огня в день Светлого Воскресения, зуб святого Антония, часть камня, павшего с неба, камень от Голгофы, камень от столпа, около которого Христос был мучим, камень из Гефсимании, где Он молился, камень от Гроба Господня, песок иорданский, частица дуба мамврийского. Рядом с ковчежцами стояли чудотворные меда монастырские в баночках, восковой сосуд с водой Иордана и от разных чудотворных икон со всех концов России, которою крестовый поп кропил царя и его близких. А вот последняя икона знаменитого иконописца Семёна Ушакова «О Тебе радуется...», — ах, и красносмотрительно же пишет этот Ушаков!.. Такого иконописца, может, на всю Россию ещё нет...

А молитва — она шла всего четверть часа — уже кончена, и царь, приняв bla-

гословение, вышел из очень жаркой от огней и молящихся моленной в прохладные сени и с удовольствием вздохнул.

— Ну-ка, ты, Соковнин, сбегай-ка в хоромы к царице — обратился он к одному из молодых приближённых, — Узнай, как она почивала...

Но царица Марья Ильинишина уже поджидала своего супруга в своей передней. Они ласково поздоровались, царь любовно оглядел свою молодёжь, и уже все вместе они отправились в домовую церковь, чтобы отстоять заутреню и раннюю обедню, причем молодые царевны все и царевичи стали в особенно укромном уголке, где их не мог видеть никто. Опять хорошо, со вкусом, помолились и все прошли в столовый покой, где подкрепились — кто сбитнем горячим с калачом, а кто взваром клюквенным или малиновым...

Между тем в передней царской уже собирались бояре, окольничие и разные близкие люди ударить челом государю. И едва вышел он в переднюю, как все бывшие там, знатнейшие люди царства Московского, поклонились царю в землю. Те, которые благодарили за какую-нибудь особую милость, часто кланялись так по тридцати раз подряд. Но царь никогда и шапки «против их боярского поклонения» не снимал — он всегда, и в покоях, ходил в царской шапке... Довольные, что увидели пресветлые царские очи, бояре окружили царя: авось обласкает он кого и словом своим царским...

В эту минуту ко двору царскому на двенадцати аргамаках, увешанных цепями гремячими, в золотом украшенной карете, вокруг которой бежало до двухсот скороходов и слуг всяких, подкатил кто-то.

— А, боярыня Федосья Прокофьевна!... — улыбнулся Алексей Михайлович. — Никогда к поздней и минуты не опоздает...

Действительно, то была боярыня именитая Федосья Прокофьевна Морозова, самый близкий друг царицы Марии Ильинишины, ещё молодая и чрезвычайно богатая вдова. Каждое утро она ездила так во дворец, чтобы отстоять вместе с царицей позднюю обедню.

— Ну, значит, и нам пора... — сказал государь и снова вместе со всеми боярами направился в домовую церковь к обедне.

— А я опять грамотку от страдальца нашего получила... — поздоровавшись с царицей, проговорила боярыня Федосья Прокофьевна, полная, бойкая женщина с круглым, миловидным лицом, намазанным румянами и белилами по тогдашней моде так, что глаза резало.

Ей самой претило это мазанье, но не подчиниться моде и у неё, женщины исключительного характера, не хватало силы: когда тоже знатная боярыня княгиня Черкасская вздумала было перестать краситься, в обществе московском поднялся такой шум, что должен был вмешаться в дело сам великий государь и принудить боярыню подчиниться обычаяю.

— Что же он, родимый, пишет? — участливо спросила царица, невысокого роста, очень полная женщина, похожая уже скорее на перину. — Как-то ему там, в Пустозёрске-то?

Речь шла о недавно сосланном в Пустозёрск вожде раскола протопопе Аввакуме, горячими поклонницами которого были обе — и царица, и боярыня.

— Да о себе-то мало пишет он... — сказала боярыня. — Всё больше о вере поучает... Очень он осуждает эти наши новые иконы. Ему любо, чтобы писали по старинному, смуглого и темновидно... Да вот, прочитаю я тебе, послушай... —

сказала она и, достав грамоту из кармана, отыскала нужное место и медленно, по складам, начала:

— Вот. «По попущению Божию умножились в нашей русской земле живописцы неподобного письма иконного. Пишут они Спасов образ Емануила, лицо одутловато, уста червонные, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, также и у ног бедра толстые и весь яко немчин: только что сабли при бедре не написано...» Видишь, государыня...

— Ох, уж не знаю как... — вздохнула простоватая Марья Ильинишна. — Кабыть не нашего бабьего ума дело...

— А тут у меня странный человек один был, так рассказывал, как его, протопопа, в ссылку-то гнали... — продолжала боярыня. — Господи, уж и мучили же человека!. Идут, идут оба со старухой-то, упадут, а подняться-то силушки нету, так измучились. И взмолится протопопица: долго ли мука сея, протопоп, будет? А страдалец и отвечает: до самой смерти, Марковна... А она, слёзы глотая, говорит: добро, Петрович, ино ещё побредём... — На глазах боярыни выступили слёзы. — Что только делают за истинную-то веру!.. В темницах давят, в срубах жгут, языки режут... И все тот, сын диавол, Никон натворил... Помирать вот буду и то ему не прошу...

— Государь в храм прошёл... — сказала маленькая и бойкая Софья, средняя дочь царицы. — Пойдём, матушка...

И все снова пошли в свой тайничок, откуда им было молящихся видно, а их — никому.

— Благослови, владыко... — бархатными волнами понеслось по храму.
И обедня началась...

И её царь и все приближённые отстояли так же легко, как и всякую другую службу: так день их шёл всегда, привыкли.

После обедни начался деловой день великого государя. Бояре снова прошли в приемную и в ожидании государя тихонько переговаривались. Но вот два стольника внесли в покой резное кресло и поставили его в углу на возвышении из трёх ступенек, обитых красным сукном. За стольниками вышли стряпчие: один нёс круглый, шитый шелками бархатный ковёр, другой атласную подушку, а третий вынес на серебряном блюде расшитый царский убрус.² И все стали по бокам царского кресла. Минуту спустя вышел Алексей Михайлович, поддерживаемый под руки двумя боярами. В руках его был длинный чёрный посох. Едва появился он на пороге, как все бояре и чины ударили низкий поклон, царь ответил ласковым поклоном и сел на свое место.

— Здрав буди, великий государь... — снова били челом бояре.
— Здравы будьте и вы, бояре... — отвечал царь.

И снова бояре и все чины били ему челом. Обыкновенно по пятницам происходило собрание Боярской Думы, но на дворе стоял уже весёлый месяц май — пришёл Пахом, понесло теплом, — и многие из бояр отпросились уже в свои поместья и вотчины, а другие — кто на крестьни, кто на свадьбу, кто на родины: в мае всегда так бывало. И сам Алексей Михайлович жил бы уже, как всегда об эту пору, в Коломенском, если бы не царевны, которые все переболели за последнее время какою-то болью в горле. Да и дожди всё это время стояли. И дел больших на сей день не было, так что у царя не было с собой даже его обычной записочки, на которой он заботливо отмечал, «о чём говорить с бояры».

В дни заседаний Думы бояре все садились в некотором отдалении от государя, а когда, как на этот раз, Думы не было, то бояре обязаны были все стоять, а когда уставали они, то выходили посидеть в сени или же просто на крыльце. Там нужно было вести себя с сугубо осторожностью: всякое непристойное слово, сказанное на дворе государевом, – а за непристойным словом русские люди никогда не стояли, – а тем более скора или драка считались нарушением чести государева двора и строго преследовались Уложением. Там так и сказано было: «...а буде кто в государевом дворе кого задерет и с дерзости ударит рукою, и такого же тут же изымать и, не отпуская его, про тот его бой сыскать, и, сыскав допряма, за честь государева двора посадить в тюрьму на месяц. А кого он ударит, и тому на нём управить безчесть».

И думный дьяк, с гусиным пером за ухом и чернильницей на шнурочке, читал государю:

– …А которые, государь, были посадские люди, ещё остались на Бело-озере, то из тех многие ныне, как приехал на Бело-озеро из Москвы дворянин Петр Хомутов, и атаман, и есаулы, и казаки, ноугородские чelобитчики, для твоих, государевых, хлебных денег, и они из достальных многие разбежались, дворяне и дети боярские, и бегают по лесам, а твоего государева указа не слушают, в осад (в город) сами не едут и крестьян своим ехать не велят…

– Не к делу ты это, дьяк, читаешь… – сказал Алексей Михайлович. – Это до Думы отложить подобало бы. Ну, да всё одно уж, читай…

Бояре внимательно слушали…

Был тут и старый именитый князь Никита Иваныч Одоевский, равного которому по роду и заслугам не было здесь и нигде никого: это он лет пятнадцать тому назад, когда был он ещё казанским воеводой, Закамскую Черту³ от ногаев да калмыков построил, а до того с князем С. В. Прозоровским, да окольничим О. Ф. Волконским, да двумя дьяками Гаврилой Леонтьевым да Фёдором Грибоедовым, Уложение выработал, которое дало Московскому царству закон и порядок. И князь Юрий Алексеевич Долгорукий, плотный, крепкий, с точно железным взглядом, был тут. Он председательствовал на Земском соборе, принявшем это Уложение, и только недавно вернулся из польского похода, был ратным воеводой. Старенький Трубецкой, которому только недавно пожалована была вотчина предков его, город Трубчевск, высматривал хитренькими глазками своими, нельзя ли как у великого государя выклянчить ещё чего. Величественно возвышался над всеми дородный князь Иван Алексеевич Голицын, по прозванию Большой Лоб, в голубых глазах которого сияла прямо детская невинность: князь до сорока лет даже грамоты никак одолеть не мог и, где нужно, вместо подписиставил кресты. Но все чрезвычайно ценили его за эту вот представительность и за большую доброту: он никогда ни с кем не задирался, не так, как этот вот князь Хованский, который за местничество во время войны был приговорён царём к смертной казни даже, но был помилован и сослан в свои вотчины, откуда только недавно вышло ему разрешение приехать в Москву.

Конечно, как всегда, тёрлись тут и те, которых народ злобно звал «владущими», вся эта родня царёва: старый, худенький, с бородкой клинышком и жадными глазами Милославский, тесть царёв, и свояк царёв Борис Иванович Морозов. Они боялись даже на минуту оставить государя одного: а вдруг кто-нибудь другой перехватит его милости? Очень они царю надоедали, и совсем недавно

во время заседания Боярской Думы он собственноручно оттаскал за бахвальство своего тестюшку, надавал ему пощёчин и вытолкал из палаты вон.

У окна задумчиво стоял Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин, недавно только подписавший с Польшей Андрушовский мир, невысокого роста, с смуглым, худощавым, иконописным лицом и прекрасными, большими, тёмными и немного печальными глазами. Родом он небольшой псковский дворянин, но был по своему времени человеком образованным, искусным дипломатом и за заслуги свои носил теперь титул «царственный большой печати и государственных великих посольских дел сберегателя». Рядом с ним виднелся его большой друг Артамон Сергеевич Матвеев, человек худородный, – он был сыном дьяка, – но ставший очень близким царю, который дружески звал его просто Сергеичем. И. М. Языков, небольшой дворянин, но знавший хорошо языки и потому много раз езжавший в посольствах за границу, слыл «человеком великой остроты и глубоким московским прежде площадных, потом же и дворских обхождений проникателем», и с ним всегда советовались, когда встречались какие затруднения в дворцовом этикете. Князь Ромодановский, с которым царь любил играть в шахматы, как всегда, сдерживал зевоту: он томился всегда во время этих приёмов и заседаний, потому что ничего не понимал он в делах государственных и не интересовался ими. И был тут старый князь Черкасский и друг его, тоже старый боярин, Никита Иванович Романов, любимец москвичей, и задира Пушкин, который тут недавно едва не подрался с Долгоруким из-за мест, и Шереметев, и Салтыков, и сокольничий Ртищев, словом, почти все те, в руках которых была вся власть над Русью исстари...

Но Алексей Михайлович всё более и более привыкал царствовать «без воспрещивания всенародного множества людей», и все эти важные, именитые вельможи в золотых шитых кафтанах и высоких горлатных шапках были скорее пышной декорацией для царя, красивым обломком старины, чем действительными советниками и помощниками. Исключения были немногочисленны, и, по большей части, были они как раз не из именитых бояр, а из людей середних и даже худородных, как Ордын-Нащокин или Матвеев. И бояре примирились с этой ролью своей и говорили, что «великий и малый живёт лишь государевым жалованием». Они вершили в Думе лишь свои дела, и народ знал это и часто шла по Руси молва: боярам быть от земли побитым... И часто вспыхивали дикие народные мятежи, направленные против того или другого боярина-хищника, а в особенности часто против «владущих», родни царёвой, которые использовали свое высокое положение для бесстыдного и неслыханного обогащения...

Притомившийся царь сдерживал зевоту. Начальник Челобитного приказа Репнин, крепыш с красным лицом, лихой охотник и не дурак выпить, с улыбкой приблизился к государю.

– Челом бью, великий государь... – сказал он. – Замаял меня в отделку воевода твой царицынский, Унковский: опять от него челобитная.

– Опять на жену? – сразу повеселел царь.

– Опять на жену... – сказал Репнин. – Дозволишь прочести?

– Читай... А вы все слушайте, – обратился царь шутя к боярам. – Пусть всем в науку будет: не женись на молодой... Ну?

– Вот, сейчас, великий государь... – сказал Репнин, пробегая глазами челобитную. – «...Кусала она, жена моя, тело моё на плечах зубом и щипками на

руках тело моё щипала и бороду драла. Ещё в бытность мою на Москве, против моего члобитъя дьяк в Мастерской палате поругательство жены моей и зубного ядения на теле досматривал и в том жене моей никакого указу не учинено. А она, жена моя, Пелагея, хотела меня, холопа твоего, топором срубить, и я от её топорового сечения руками укрывался, и посекла у меня праву руку по запястью, и я от того её посеченья с дворишка своего чуть жив ушёл и был человеком, и опять указу никакого не было, а от той посеченной руки я навеки увечен. Да и впредь она, жена моя, хвалится на меня всяким дурным смертоубивством и по твоему государеву указу посажена она за приставы. И она, сидя за приставы, хвалится и ныне на меня смертным убивством. Милосердый государь, пожалуй меня, вели в таком поругательстве и в похвальбе ей, жене моей, свой царский указ учинить и меня с нею развесть, чтобы мне от нея, жены своей, впредь напрасною смертию не умереть...» И это уж не ведаю, в какой раз... Прямо смертным боем бьются...

— Вперед наука: не женись на молодой... — повторил, смеясь любительно, Алексей Михайлович. — Ну, что ж... Препроводи грамоту на Патриарший двор и пусть там учнят по правилам святых апостол и святых отец, чего доведётся...

— Вот тут ещё члобитная от крестьян села Ширинги есть, великий государь... — сказал Репнин. — Они уж и раньше на помещика своего челом били. Велиши прочести?

— Чти!

— М-м-м... — пробегая титулы и вступление, которые надоели царю от частого повторения, тянул Репнин. — Вот. «А господин наш, князь Артемий Шейдяков, приехавши в пожалованное от тебя, государь, село Ширингу, крестьянишек, что приходили к нему по обычаю с хлебом на поклон, бил, мучил и на ледник сажал. И, будучи женат, он, князь Артемий, брал к себе на постель татарок от нехрещёных татар, а затем, взявши с нас, крестьянишек твоих, против твоего государева указу, сполна денежный оброк за год, отписей в этом нам, крестьянам, не дал. Уехавши же в Самарский город, князь Артемий все оброки и одежду с себя пропил и проиграл весёлым жёнкам, после чего опять съехал на Рождество в село Ширингу, взявши с собой в деревню весёлых жёнок. Здесь он стал мучить нас, крестьянишек, смертным правежом в новых оброчных годовых деньгах и допправил с нас сверх оброку 50 рублёв денег, да 40 вёдер вина, да 10 вар пива, да 10 пуд меду. А у которых крестьян были нарочитыя⁴ лошадёнки, тех лошадей он, князь Артемий, взял на себя. А которые крестьянишки на князя Артемия тебе, государь, челом били об его насильстве и неверном правеже, на тех похваляется он смертным убийством, хочет их позекати своими руками. И мы, сироты твои, не претерпя его, князя Артемия, немерного правежа и великой муки, разбрелись от него разно...»

— Прикажи воеводе самарскому розыск сделать... — сказал царь. — И нам, государю, обо всём отписать...

Доклады продолжались.

Князь Юрий Долгорукий осторожно мигнул Матвееву, и оба, выбрав минутку, вышли в сени.

— А что, я слышал, на Дону опять не слава Богу?... — сказал князь.

— Неладно на Дону, князь... — отвечал Матвеев.

— А государю уже известно?

— Может, сегодня доложит Афанасий Лаврентьевич... Он гонца оттуда под-

жидает...

— На воскресенье великий государь соколиную потеху назначил, — сказал Долгорукий, — так дома меня не будет. А вот давайте-ка соберёмся, хоть у меня, что ли, в понедельник после вечерни побеседовать по этому делу. Афанасия Лаврентьевича я позову, ты приезжай, Ртищева позвать надо, Одоевского... Упустишь огонь, не потушишь. И посоветуемся... Мне сказывали, совсем негожие дела там затираются...

— И я уж думал, что посоветоваться надо бы...

— На людей пока выносить дело нечего... — сказал князь. — Только всего и будем: мыста да выста да как великий государь укажет... А надо сперва накрепко помыслить про то дело промеж теми, кто работать хочет и умеет, а тогда уже и в Думе действовать... Так я тебе дам знать, когда и где соберёмся.

Было уже около полудня. Царь, наконец, поднялся и отпустил бояр по домам обедать, а потом, по обычаям христианским, до вечерен отдохнуть.

— А после вечерен сегодня ко мне уж не ходите... — сказал царь. — Потому надо нам всем в Коломенское собираться, так распорядиться мне по дому надо, как и что...

Бояре были целом...

Боярыня Федосья Прокофьевна Морозова, распростившись с государыней, уселилась в свою золочёную карету, аграмаки подхватили, огромная толпа скороходов и слуг бросилась за каретой, и народ останавливался и дивился:

— Сама Морозиха... Должно, с верху, от великого государя едет... Ну и живут!..

II. У себя

Великий государь прошёл в соседнюю с передней комнату, которая так Комнатой и называлась: здесь Алексей Михайлович занимался, а часто и обедал, большою частью один, а то и с близкими боярами. Это был обширный, но уютный покой с небольшими оконцами, из которых открывался красивый вид на всё Заречье и на Стрелецкую слободу. В переднем углу стояло множество икон с расшитыми убрусами и золотыми лампадами. На почтёном месте среди них, в дорогом окладе, стоял образ «Во гробе плотски» работы знаменитого Андрея Рублева. Под образами — рабочий стол, крытый алым сукном с золотой бахромой, а на столе прибор всякий: часы иноземные с переливчатым боем; чернильница серебряная; песочница и трубка, в которой перья мочат; серебряная свистелка, заменяющая звонок; зубочистка, уховёртка и несколько лебяжьих перьев. В другом углу стоит маленький шахматный столик. Вдоль стен тянутся низкие лавки, крытые бархатными расшитыми полавочниками, а между ними — поставцы разные, в которых хранятся любимые книги царя, бумаги разные, золотая и серебряная посуда, по большей части, любительные подарки от иноземных государей, и всякие затейливые фигурки из дорогих металлов и фарфора, маленькие сундучки, а в них вделаны: в одном — преступление Адама в раю, в другом — дом Давыдов и так далее. На одном из этих поставцов стояли большие, весьма хитрой работы заморские часы, — когда патриарх Никон был арестован, то князь Алексей Трубецкой с товарищи перебрал всю келейную рухлянь опального патриарха и все лучшее взял на себя великий государь, а в том числе и эти часы. Сто лет тому назад часы, или часомерье, возбуждали в москвичах великое удивление: «На всякий же час ударяет в колокол, не бо человек ударяще, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако, створено есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрен». Но теперь просто часы уже не удивляли, они встречались чуть не во всяком богатом доме, — теперь ценились лишь часы работы исключительно затейливой: со знамены небесными, с действы блудного сына, с планиды и святцы... По стенам висели картины фряжские, большою частью религиозного содержания, и «парсуны», то есть портреты государей, а между ними в тяжёлой золотой раме — Большой Чертёж Земли Русской, то есть карта России. В углу, около входа, стояла изразцовая, красиво расписанная травами, людьми, конями, зверями диковинными и всяким узорочьем печка с лежанкой. И весь пол был устлан мягкими персидскими коврами.

Библиотека Алексея Михайловича была по своему времени довольно значительна: царь любил почитать. Но так как на иноземные языки был он не горазд, то у него все книги были исключительно русские, большою частью духовного или исторического содержания. Вот «Вергоград Королевский» Папроцкого, «История вкратце о Бохоме, еже есть о Земле Чешской», вот «Позорище всей вселенныи или Атлас Новый, в нём же начертание и описания всех стран изданы суть», вот «Путешествие или похождение в Землю Святую пресветлосияющего господина, его милости Николая Христофа Радзивилла». Вот «Космография, сооружённая от древних философов, — описание государств и земель и островов во всех трёх частях света, где как живут люди и какие веры, и где родится и какая